

Эпос и лирика современной Россіи

— ВЛАДИМИР МАЯКОВСКІЙ И БОРИС ПАСТЕРНАК —

I

Если я, говоря о современной поэзии Россіи, ставлю эти два имени рядом, то потому что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии Россіи, назвать одно из них, каждое из них без другого — и вся поэзія все-таки будет дана, как в каждом большом поэтѣ, ибо поэзія не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всѣх своих явленіях — одна, одно, в каждом — вся, так же как, по существу, нѣтъ поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца міра, сила, окрашивающаяся в цвѣта данных времен, племен, стран, нарѣчій, лиц, проходящая через ее, силу, несущих, как рѣка, тѣми или иными берегами, тѣми или иными небесами, тѣм или иным дном. (Иначе бы мы никогда не понимали Виллона, котораго понимаем цѣликом, несмотря даже на чисто физическую непонятность иных слов. Именно возвращаемся в него, как в родную рѣку).

Итак, если я ставлю Пастернака и Маяковского рядом, ставлю рядом, а не даю их вмѣстѣ, то не потому, что одного мало, не потому, что один в другом нуждается, другого восполняет, повторяю, каждый полон до краев, и Россія каждым полна (и дана) до краев, и не только Россія, но и сама поэзія, — дѣлаю я это, чтобы дважды явить то, что дай Бог единожды в пятидесятилѣтіе, здѣсь же в одно пятилѣтіе дважды явлено природой: цѣльное полное чудо поэта.

Ставлю я их рядом, потому что они сами в эпохѣ, во главѣ угла эпохи, рядом стали и останутся.

Слышу голос: — «Современная поэзія Россіи». «Пастернак-то Пастернак, но как же Маяковский, который в 1928 г...».

Во-первых: когда мы говорим о поэтъ — дай нам Бог помнить о вѣкѣ. Второе и обратное: говоря о данном поэтъ, Маяковском, придется помнить не только о вѣкѣ, нам непрестанно придется помнить на вѣк вперед. Эта вакансія: первого в мірѣ поэта масс — так скоро-то не заполнится. И обращаться на Маяковского нам, а, может-быть, и нашим внукам, придется не назад, а вперед.

Когда я на каком-нибудь французском литературном собраніи слышу всѣ имена кромѣ Пруста, и на свое невинное удивленіе: — *Et Proust?* — *Mais Proust est mort, nous parlons des vivants* — я каждый раз точно с неба падаю: по какому же признаку устанавливают живость и умершесть писателя? Неужели Х. жив, современен и дѣйственен потому, что он может притти на это собраніе, а Марсель Пруст потому, что никогда никуда уже ногами не придет — мертв? Так судить можно только о скороходах.

И в отвѣтъ такое добродушное, такое спокойное:

— Гдѣ-ж найду

Такого, как я, быстроногого?

Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и гдѣ-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать.

Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи, Маяковский по росту, а Пастернак и по рожденію. Оба в стихи пришли из другого. Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский «хищный глазомѣр простого столяра», Пастернак — всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. (Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чѣм в своем. Поплутать в чужом и обрѣсти себя в родном. Так, по крайней мѣрѣ, обойдешься без «попыток»).

Иггjahre обoих кончилиcь рано. Но к стихам Маяковскій пришел еще из Революціи и неизвѣстно из чего больше. Из революціонной дѣятельности. Шестнадцати лѣтъ он уже сидѣл в тюрьмѣ. «Это не заслуга». — Но показатель. Для поэта не заслуга, но для человѣка показатель. Для этого же поэта — и заслуга: начал с платежа.

Поэтическій облик каждаго сложился и сказался рано. Маяковскій начал с явленія себя міру: с показа, с громогласія. Пастернак — но кто скажет начало Пастернака? О нем так долго никто ничего не знал. (Виктор Шкловскій, в 1922 году, в бесѣдѣ: — У него такая хорошая слава: подземная) Маяковскій являлся, Пастернак таился. Маяковскій себя казал, Пастернак — скрывал. И если теперь у Пастернака имя, то этого так легко могло бы не быть: случайность благоприятнаго для дарованій часа и края: *la carrière ouverte aux talents*, и даже не *ouverte*, а *offerte*, если только — ряд поэтов кормимых, но замалчиваемых — носитель этого дара не инакомыслящій.

У Маяковского же имя было бы всегда, не было бы, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чѣм он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себѣ силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: — Я! — Его спросили: Кто — я? Он отвѣтил: Я: Владимір Маяковскій. — А Владимір Маяковскій — кто? — Я! — И больше, пока, ничего. А дальше, потом, все. Так и пошло: «Владимір Маяковскій, тот, кто: я». Смѣялись, но Я в ушах, но желтая кофта в глазах — оставались. (Иные, увь, по сей день ничего другого в нем не увидѣли и не услышали, но не забыл никто).

Пастернак же... Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста, создателя женских и дѣтских головок. Я и в 1921 г. встрѣчала отзывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хорошій. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он, вѣдь, кажется, занимался музыкой»... Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья. Гдѣ тут утвердиться третьему, поэту? А за плечами Пастернака было уже три полустанка (начиная с послѣдняго): 1917 г. «Сестра моя Жизнь» (изданная

только в 1922 г.), 1913 г. — «Поверх Барьеров» — и первая, самая ранняя, которой даже я, пишущий, не знаю имени. Чего же спрашивать с остальных? До 1920 г. Пастернака знали тѣ нѣсколькоіе, что видят, как кровь течет, и слышат, как трава растет. О Пастернакѣ можно сказать словами Рильке:

...die wolften blühen.

Wir wollen dunkel sein und uns bemühen.

Пастернак не хотѣл славы. Может быть боялся сглазу: повсемѣстнаго, непричастнаго, безпредметнаго глаза славы. Так Россія должна беречься Интуризма.

А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чѣм громче орал — тѣм больше народу слушало, чѣм больше народу слушало, тѣм громче орал — пока не доорался до Войны и Міра и многотысячной аудиторіи Политехническаго Музея — а затѣм и до 150-милліонной площади всея Россіи. (Как про пѣвца — выпѣлся, так про Маяковского: выорался).

У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких. одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за Маяковским и по Пастернака, как в невѣдомом мѣстѣ по воду, куда-то по что-то — достовѣрно, но гдѣ? но что? — сущее, ошущее, наугад, каждый своим путем, всѣ врозь, всегда вразброд. На Пастернакѣ, как на ручьѣ, можно встрѣтиться, чтобы вновь разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себѣ и на себѣ. На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спѣваются.

Сколько читателей у Пастернака — столько голов. У Маяковского один читатель — Россія.

В Пастернакѣ себя не забывают: обрѣтают и себя и Пастернака, то-есть новый глаз, новый слух.

В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.

Маяковского нужно читать всѣм вмѣстѣ, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случаѣ вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всѣм залом. Всѣм вѣком.

Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всѣх, хором орущих все тѣ же двѣ (непреложных)

истины Маяковского. А еще лучше — как во всё время писали поэты и читали поэтов — в лесу, одному, не заботясь, лес ли это листьями или Пастернак листьями.

Я сказала: первый в мире поэт масс. И еще прибавлю: первый русский поэт — оратор. От трагедии «Владимир Маяковский» до последнего четверостишия:

Как говорят «инцидент исперчен»,
Любовная лодка разбилась о быт.
Мы с жизнью в расчетъ и не к чему перечень
Взаимных болей и бѣд и обид.

— всюду, на протяжении всего его — прямая речь с живым прицѣлом. От витія до рыночнаго зазывала Маяковский неустанно что-то в мозги вбивает, чего-то от нас добивается — какими угодно средствами, вплоть до грубѣйших, неизмѣнно удачных.

Примѣр послѣдняго:

И на кровати Александры Феодоровны
Развалился Александр Феодорович.

— то, что мы всё знали, созвучіе имен, которое всё отмѣчали — ничего новаго, но — здорово! И как бы мы ни относились и к Александрѣ Феодоровнѣ, и к Александру Феодоровичу, и к самому Маяковскому, каждый из нас этими строками удовлетворен, как формулой. Он тот поэт, которому всегда все удается, потому что должно удаваться. Ибо на том краю, по которому неустанно ходит Маяковский, ошибиться значит — разбиться. Все творчество Маяковского балансировка между великим и прописным. Путь Маяковского — не литературный путь. Идущіе его путями повседневно это доказывают. Сила неподражаема, а Маяковский без силы — nonsense. Общее мѣсто, доведенное до величія — вот, зачастую, формула Маяковского. В этом он — иной вѣкъ — иная речь — сходен с Гюго, котораго, напомним, — читал:

В каждом юношѣ — порох Маринетти,
В каждом старцѣ — мудрость Гюго.

Не даром Гюго, а не Гете, с которыми Маяковского не родило ничто.

Кому же говорит Пастернак? Пастернак говорит сам с собою. Даже хочется сказать: при самом себѣ, как в присутствіи дерева или собаки, того, кто не выдаст. Читатель Пастернака, и это чувствует всякій, — соглядатай. Взгляд не в его, Пастернакову, комнату (что он дѣлает?), а непосредственно ему под кожу, под ребра (что в нем дѣлается?).

При всем его (уже многолѣтнем) усилии выйти из себя, говорить тѣм-то (даже всѣм), так-то и о том-то — Пастернак неизмѣнно говорит не так и не о том, а главное — никому. Ибо это мысли вслух. Бывает — при нас. Забывает — без нас. Слова во снѣ или спросонок. «Парки сонной лепетаешь»...

(Попытка бесѣды читателя с Пастернаком мнѣ напоминает діалоги из «Алисы в странѣ Чудес», гдѣ на каждый вопрос слѣдует либо запаздывающій, либо обскакивающій, либо вовсе не относящійся к дѣлу отвѣт, — очень точный бы, ежели бы — но здѣсь неумѣстный. Сходство объясняется введеніем в «Алису» другого времени, времени сна, из котораго никогда не выходит Пастернак).

Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нѣтъ читателя. У Маяковского — слушатель, у Пастернака — подслушиватель, соглядатай, даже слѣдопыт.

И еще одно: Маяковский в читательском сотворчествѣ не нуждается, имѣющій (самыя простыя) уши — да слышит, да — вынесет.

Пастернак весь на читательском сотворчествѣ. Читать Пастернака немногим легче, а может быть и совсѣм не легче, чѣм Пастернаку — себя писать.

Маяковский дѣйствует на нас, Пастернак — в нас. Пастернак нами не читается, он в нас совершается.

Есть формула для Пастернака и Маяковского.
Это — двуединая строка Тютчева:

Все во мнѣ и я во всем.

Все во мнѣ — Пастернак. Я во всем — Маяковский. Поэт и гора. Маяковскому, чтобы быть (сбыться) нужно, чтобы были горы. Маяковский в одиночном заключеніи — ничто. Пастернаку, чтобы были горы, нужно было только родиться. Пастернак в одиночном заключеніи — все. Маяковский сбывается горой. Пастернаком — гора сбывается. Маяковский, восчувствовав себя, предположим, Уралом, — Уралом стал. Нѣтъ Маяковского. Есть Урал. Пастернак, вобрав в себя Урал, сдѣлал Урал — собою. Нѣтъ Урала. Есть Пастернак. (Распространенно: нѣтъ Урала, кромѣ пастернаковского Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всѣх читавших Дѣтство Люверс и Уральскіе стихи).

Пастернак — поглощеніе, Маяковский — отдача. Маяковский претвореніе себя в предметъ, раствореніе себя в предметъ. Пастернак претвореніе предмета в себя, раствореніе предмета в себя: да, и самых нерастворяющихся предметов, как горныя породы Урала. Всѣ горныя породы Урала растворены в его лирическом ятоктѣ, лишь оттого таком тяжелом, таком громоздком, что это — нѣтъ, даже не лава, ибо лава раствореніе однороднаго земнаго — а насыщенный (міром) раствор.

Маяковский безличен, он стал вещью, живописуемой. Маяковский, как ния, собирательное. Маяковский, это кладбище Войны и Міра, это родины Октября, это Вандомскій столп, задумавшій жениться на площади Конкорд, это чугунный Понятовскій, грозящій Россіи, и нѣкто (сам Маяковский) с живого пьедестала толп — ему грозящій, это на Версаль идущее «хлѣба!». Это послѣдній Крым, это тот послѣдній Врангель... Маяковского нѣтъ. Есть — эпос.

Пастернак останется в видѣ прилагательнаго: пастернаковский дождь, пастернаковский прилив, пастернаковский орѣшник, пастернаковский и так далѣе, и так далѣе.

Маяковский — в видѣ собирательнаго: сократительнаго.

В жизни дней Маяковский один за всѣх (от лица всѣх).
(Десятилѣтіе Октября)

Под скромностью ложной — радости не тая,
Ору с побѣдителями голода и тьмы:

— «Это я!
Это — мы!».

(Ложной скромности в нем не было, но — вчитайтесь! — такая глубочайшая настоящая. Впервые поэт гордится тѣм, что он то же, что он — всѣ!).

Пастернак: один из всѣх, меж всѣх, без всѣх:

Всю жизнь хотѣл \approx быть, как всѣ,
Но мир в своей краѣ
Не слушал моего нытья
И быть хотѣл — как я!

Пастернак — невозможность слиянія.

Маяковскій — невозможность неслиянія. Он во враждѣ больше сливается с врагом, чѣм Пастернак, в любви, с любимым. (Конечно, знаю, что и Маяковскій был одинок, но одинок только в порядкѣ исключительности силы, не единственность лица, а единоличность силы). Маяковскій насквозь человѣчен. У него и горы говорят человѣческим языком (как в сказкѣ, как в каждом эпосѣ). У Пастернака человѣкъ — горным (тѣм же пастернаковским потоком). Ничего нѣтъ умирительнѣе, чѣм когда Пастернак пытается подражать человѣку, той честности, доведенной до рабства, нѣкоторых отрывков Лейтенанта Шмидта. Он до такой степени не знает, как это (то или иное это) с людьми бывает, что, как послѣдній ученик на экзаменѣ, списывает у сосѣда все сплошь, вплоть до описок. И какой жуткій контраст: живой Пастернак, с его рѣчью, и рѣчь его, якобы объективнаго, героя.

Все Пастернаку дано кромѣ другого — от любого до даннаго, во всѣх его разновидностях другого, живого человѣка. Ибо другой человѣкъ Пастернака не живой, а какой-то сборник общих мѣст и поговорок, — так нѣмец хочет прихвастнуть знаніем русскаго языка. Обыкновенный человѣкъ Пастернака самый необыкновенный. Пастернаку даны живыя горы, живое море (и какое! первое море в русской литературѣ послѣ моря свободной стихіи и пушкинскому равное), зачѣм перечислять? дано живое — все!

BIBLIOTHÈQUE RUSS
35
TCHERGUENEV

9, Rue de Vol-de-Craque 9

Здѣсь даже снѣг благоухает
И камень дышет под ногой...

— все, кромѣ живого человѣка, который либо тот нѣмец, либо сам Борис Пастернак, то-есть одиночное, ни на что не похожее, то-есть сама жизнь, а не живой человѣкъ. (Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут).

В его гениальной повѣсти о четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ все дано, кромѣ данной дѣвочки, цѣльной дѣвочки, то-есть дано все пастернаковское прозрѣніе (и присвоеніе) всего, что есть душа. Дано все дѣвчончество и все четырнадцатилѣтіе, дана вся дѣвочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны всѣ составные элементы дѣвочки, но данная дѣвочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто. Потому что данная дѣвочка — не данная дѣвочка, а дѣвочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы дѣвочкой, то-есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилѣтняя дѣвочка быть не может. (Сбываться через людей Пастернак не дает. Здѣсь он обратное медіуму и магниту — если есть медіуму и магниту обратное). Что у нас от этой повѣсти остается? Пастернаковы глаза.

Но больше скажу: эти пастернаковы глаза остаются не только в нашем сознаниі, они физически остаются на всем, на что он когда-либо глядѣл — в видѣ знака, мѣты, патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковскій это лист, или просто. Вобрав (лист) глазом — возвращает с глазом (глазком). (Не могу удержаться от слѣдующей — русскаго слова нѣтъ — реминисценціи: пастернаковская (отца) известная и прелестная пастель: «Глазок». Огромная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющаго — дѣтскій огромный глаз: глазок... Может-быть, сам Борис Пастернак в младенчествѣ, достовѣрно, Борис Пастернак — в вѣчности. Если бы отец знал, кто и, главное что так пьет).

Как я нѣкогда, совсѣм иначе, лирически и иносказательно:

И всѣ твоими очами глядят иконы!

— об Ахматовой, так нынѣ, вполне достовѣрно и объективно, о Пастернакѣ:

И всё твоими очами глядят деревья!

Всякій лирик вбирает, но большинство внѣ сита и задержки глаза, непосредственно извнѣ в душу, окунает вещь в обще-лирическую влагу и возвращает ее окрашенной этой общелирической душой. Пастернак же через глаз мир — процѣживает. Пастернак — отбор. Его глаз — отжим. За сѣтчатку пастернаковского глаза протекает — течет потоками — вся природа, проскакивает порой и человѣческой фрагмент (всегда незабвенный!), за нее никогда еще не проникал ни один человек в цѣлом. Пастернак и его неизмѣнно растворяет. Не человек, а человѣческой раствор.

Поззія! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
Расти себѣ пышныя брызжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзія, я тебя выжму
Во здравіе жадной бумаги.

Напоминаю, что губка Пастернака — сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тѣм, чѣм было, и мы, вначалѣ утверждавшіе, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утвержденіем, что никакого, кромѣ пастернаковского, ливня никогда и не было и быть не может. Тот случай Уайльда воздѣйствія искусства (иначе: глаза) на природу, то-есть прежде всего на природу нашего глаза.

Живой человек Пастернака, как мы сказали, либо фантом, либо сам Пастернак, лицо всегда подставное. Маяковский также неспособен на живого человека, но не потому же. Если Пастернак его раздробляет и растворяет, Маяковский его до-творяет, надставляет — и вверх, и вниз, и вширь (только не вглубь!), подводит под него постамент своей любви или помост своей ненависти, так что получается не любимая Лиля

...напримѣр, но Лидя Брик, возведенная в некую степень его, Маяковского, любви: всей человеческой, мужской и подтовой любви, Лидя Брик — Собор Парижской Богоматери. То-есть сама любовь, громада маяковской любви, всей любви. Есмь же это «бѣлогвардеец» (враг), Маяковский надѣляет его такой выразительности атрибутами, что мы не вспомним ни одного нашего живого знакомого добровольца, это будет Бѣлая Армія глазами Красной Арміи: то-есть живой эпос ненависти, то-есть совершенный урод (изверг), а не живой (несовершенный, то-есть и с добродѣтелями) человек. Генерал будет — до чудовищности отросший погон и бакенбард, буржуа будет — не мясом, а цѣлым мысом выступающій на нас живот, муж (в поэмѣ Любовь) — его, Маяковского, ненавистью, которой не в состоянии оправдать, если даже сложатся вмѣстѣ в своем ничтожествѣ, цѣлая сотня «мужей». Такого мужа нѣтъ. Но такая ненависть — есть. Чувства Маяковского не гипербола. Но живой человек — гипербола. В случаѣ любви — собор. В случаѣ ненависти — забор, то-есть эпос наших дней: плакат.

Глазотѣр масс в ненависти и глазотѣр всей массы Маяковского в любви. Не только он, но и герои его — эпичны, то-есть безымянны... В этом он опять-таки сроден Гюго, на безконечных и густо заселенных пространствах своих Мизераблей не давшему ни одного живого человека, как он есть, а Дож (Жавера), Добро (Монсеньера), Несчастье (Ваджана), Материнство (Фантину), Дѣвичество (Козетту) — и так далѣе, и так далѣе, — и давшему так безмѣрно больше живого человека: живая сила, миром движущія. Ибо — настандано на этом асьмѣ вѣсом — всякую силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский при самом живой ненависти, дует живой. Искажает он только, когда презирает, когда перед лицом слабости (хотя бы цѣлаго торжествующаго класса!), а не силы — хотя бы усиленной. Не прощает Маяковский, в концѣ концов, только немощи. Всякой мощи его мощь воздает должное. Вспомним стихи Понятовскому и, недалеко ходя, гениальныя строки о послѣднем Врангелѣ, встающем и остающемся как послѣднее видѣніе Добровольчества над послѣдним Крымом, Врангелѣ, только Маяковским данном в рост его нечеловѣческой бѣды, Врангелѣ в рост трагедіи.

Перед лицом силы Маяковский обрѣтает вѣрный глаз, вѣрнѣе его непомѣрный глаз здѣсь оказывается у мѣста: нормальным. Пастернак ошибается в составѣ человѣка, Маяковский в размѣрѣ человѣка.

Когда я говорю глашатай масс, мнѣ видится либо время, когда всѣ такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда всѣ такими будут. Пока же, во всяком случаѣ в области чувствованій, конечно, Пулливер среди лиллипутов, совершенно таких же, только очень маленьких. Об этом же говорит и Пастернак в своем привѣтствіи лежачему:

Твой выстрѣл был подобен Этиѣ
В предгорье трусов и трусих.

Не похож «живой человѣкъ» и у Пастернака и у Маяковского еще и потому, что оба поэты, то-есть живой человѣкъ плюс что-то и минус что-то.

Дѣйствіе Пастернака и дѣйствіе Маяковского. Маяковский отрезвляет, то-есть, разодрав нам глаз возможно шире — верстовым столбом перста в вещь, а то и в глаз: гляди! заставляет нас видѣть вещь, которая всегда была и которой мы не видѣли только потому, что спали — или не хотѣли.

Пастернак, мало что отпечатавшись на всем своим глазом, нам еще этот глаз вставляет.

Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает.

Когда мы читаем Маяковского, мы помним все, кроме Маяковского.

Когда мы читаем Пастернака, мы все забываем, кроме Пастернака.

~~Маяковский~~ космически останется во всем вѣшнем мірѣ. Безлично (слитно). Пастернак остается в нас, как прививка, видоизмѣнившая нашу кровь.

Орудованіе массаами, даже массивами («les grandes machines», сам Маяковский — завод Гигант). Явленіе деталями — Пастернак.¹⁾ У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. (По временам физика стихов Маяковского мнѣ напоминает лицо Воскресенья из «Человѣка, который был Четвергом» — слишком большое, чтобы его можно было мыслить). Оптом — Маяковский. В розницу — Пастернак.

Тайнопись — Пастернак. Явнопись, почти пропись — Маяковский. «Черного и бѣлаго не покупайте, да и нѣт не говорить» — Пастернак. Черное, бѣлое. Да, нѣт — Маяковский.

Иносказаніе (Пастернак).²⁾ Прямосказаніе, при чем, если не поняа, повторит и будет повторять до безчувствія, пока не добьется. (Из сил никогда не выбьется!).

Шифр (Пастернак). — Свѣтовая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше — маяк.

Нѣт человѣка, не понимающаго Маяковского. Гдѣ человек, до конца понявшій Пастернака? (Если он есть — это не Борис Пастернак).

Маяковский — весь самосознаніе, даже в отдачѣ:

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебѣ отдаю, атакующій класс!

— с удареніем на в с ю. Знает, что отдаст!

Пастернак весь самосомнѣніе и самозабвеніе.

Гомерическій юмор Маяковского.

¹⁾ Всесильный Бог любви,
Всесильный Бог деталей,
Ягайлов и Ядвиг.

(Б. II).

²⁾ Беру любой примѣр. Смерть поэта:

Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках прорваннаго бредня.

Слезный, влажный сдвиг, сдвинувшій все лицо. Бредень прорван, проступила вода. — Слезы.

Исключенность юмора у Пастернака, развѣ-что начало роб-
кой (и сложной) улыбки, тут же и кончающейся.

Пастернака долго читать невыносимо от напряженія (моз-
гового и глазного), как когда смотришь в чрезмѣрно острья
стекла, не по глазу (кому он по глазу?).

Маяковского долго читать невыносимо от чисто физиче-
ской растраты. Послѣ Маяковского нужно много и долго ѣсть.
Или спать. Или — кто постояче — ходить. Наверстывать, или
— кто постояче — вышагивать. И невольно видѣніе Петра,
глазами восемнадцатилѣтняго Пастернака:

О как он велик был! Как сѣткой конвульсій
Покрылись желѣзныя щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осокѣ...
И к горлу балтійскія волны, как комья
Тоски подкатили...

Так Маяковскій нынче смотрит на російскую стройку.

Марина Цветаева.

BIBLIOTHÈQUE RUSSE
TOURGUENEV
9, Rue du Val-de-Grâce, 9